

Елена Жарикова

Венькины камешки

Лёшка

В августе жизнь замедлялась, цепенела, словно поддаваясь гипнозу утренних туманов, сонному заплетанию клонящихся трав, неторопливому течению рыхлого неба, сыпавшего грибные парные дождички. По утрам в огороде на капустных головах и подсолнуховых ладонях лежала обильно ледяная роса, дрожала, скатывалась в желобки, мелкие капли сливались в крупные, тяжёлые, поблёскивающие, как перламутровые пуговицы.

Всё вокруг напитывалось тяжестью, спелой тишиной, влажной и сочной зрелостью... Сырела и разбухала неподатливая кособокая огородная калитка, ржавел навесной замок сараюшки, сыроохристо желтели опилки на завалинке... Густели и становились липкими, словно маслянистыми, запахи, скользкими, неуклюжими делались доски, заменявшие тротуар, — по ним подбирались к огородной калитке.

В такие дни Лёшка любил сидеть у окна ранним утром, пока все ещё в доме похрапывают, не слышно возни соседей и Жулик не гремит цепью во дворе; хорошо вот так глазеть в запотевшее окно, выходящее в огород, и писать что-нибудь в мятую тетрадку в зелёной обложке. Почему-то особенно хорошо думалось в эти ранние часы, а главное — никто не бубнил за спиной, не нудил, что Лёшка дурью мается, а лучше бы дрова сложил в поленницу или воды в баню принёс.

Иногда получалось что-то вроде стихотворения или маленького рассказа, причём стихи складывались именно как поленница, это Лёшка давно понял: какое попало слово рядом с другим не поставишь (как и полено не положишь), оно кособочится, в ритм не укладывается, так и сяк надо прилаживать поленья-слова, чтобы ладно легли, иначе всё завалится. А рассказы иным манером получались — словно воды в баню наносить. Когда в субботу начинались предбанные хлопоты и надо было волчком вертеться, Лёшка, упруго пружиня задубелыми пятками по шаткам доскам, носился с коромыслом к колодцу, расплёскивая, оступаясь, таскал с азартом воду, придумывая на ходу приключения какого-нибудь пирата или муравья.

Книг у Лёшки было немного, всё больше дедовы: потрёпанный «Человек-амфибия», зачитанный,

с загнутыми уголками «Мурзук» Бианки, «Басни» Крылова с весёлым слоном на обложке и чайным пятном прямо на рыжей лохматой Моське, несколько тонких детских со сказками — ну, их Лёшка давно знал на память, мог рассказать, хоть ночью разбуди, — и где-то с десяток отцовых книжек, наверное, жутко интересных, но пока Лёшка их не читал. Отец сказал: подрасти, малой, — и убрал свои книжки на верхнюю полку: ему достать, а Лёшке — хоть стул подставь — нет.

Зато бабка, пока была жива, Лёшкину страсть к книжкам одобряла и подсовывала своё — журналы «Юный натуралист», которые она выписывала годами, потому что долго работала в школе учительницей биологии. Ну, в эти журнальчики Лёшка зарывался с головой, подолгу рассматривал цветные фотографии с животными и растениями, а картинку, что особенноглянулась, — аккуратно вырезал ножницами и приклеивал на стенку в своём закутке. У него там уже целая галерея висела — красиво.

Отец ушёл из семьи год назад, когда Лёшке исполнилось одиннадцать, ушёл тихо, без скандалов — словно уехал в длительную командировку. Лёшка даже не понял сперва, что случилось: мать ходила по обыкновению хмурая, пряча лицо, глаза на мокром мосте, всё перекадывала и перетирала посуду, убирала в шкафу, бормотала что-то себе под нос... Наконец, объяснила в двух словах, что отец теперь живёт в райцентре, у него другая семья. Лёшку словно ушатом холодной воды обдало: «А я?» Хоть бы словечко сказал, когда уходил. Смылся, как предатель. Слёзы полнили глаза и кривили губы, но он был материнной породы — терпеливой, замкнутой, молчаливой: плакал в одиночку, поздно вечером, в стенку, зажав кулаком рот.

Раз в месяц отец приезжал — чужой и родной, пахнувший одеколоном «Шипр», в свежей незнакомой рубашке, в новом клетчатом пиджаке, даже в галстуке (а с ними жил — не носил ни разу). Мать молчком уходила к соседке, неосторожно хлопая дверью.

Лёшка оставался, односложно отвечал на отцовские расспросы и с новым чувством притуплённой боли украдкой вглядывался в отца: морщинка между густыми бровями стала глубже, синеватые

холодные глаза смотрят куда-то вбок, не прямо. Неловко и виновато улыбаясь, отец доставал из модной спортивной сумки с ремешком через плечо всякие городские гостинцы, к которым Лёшка гордо не притрагивался, хотя отца было жалко. Промаявшись полчаса сначала в избе, потом во дворе, отец уезжал, оставив на столе мятные пряники в бумажном кулке, щекастые бордовые яблоки и альбом для рисования. Лёшка долго смотрел за удаляющейся фигурой отца, вгрызлся в неподатливо-упругий бок огромного яблока и проталкивал плохо прожёванный кусок в сжатое слёзным спазмом горло.

До начала школы оставалась всего неделя, и от этого к сердцу подбирался какой-то острый холодок. Вроде всё было готово к занятиям: портфель, тетрадки и пенал мать купила в универмаге в городе, велела не трогать, спрятала в шкаф, а школьную форму и ботинки они как раз сегодня наладились покупать. Мать сейчас встанет (вон уж слышно, завозилась), управляться пойдёт, а в десять часов автобус в райцентр.

Вечно замотанная домашними хлопотами, хмурая, мать не баловала Лёшку ни ласковым словом, ни тёплым прикосновением; он знал это давно и не напрашивался. Хотя вечерами, особенно перед сном, или утром хотелось, чтобы она подошла, прижала Лёшкину ушастую голову к застиранному пахучему фартуку, поцеловала в маковку.

— Не умылся ещё? Давай живей в баню, да путём, с мылом, чтобы и уши, и шею! — мать сунула Лёшке махровое полотенце, трусишки и майку.

Он едва успел сунуть в стол тетрадку и ручку.

Когда тряслись в автобусе, Лёшку начал одолевать сон, хотя и на окрестности посмотреть хотелось. Но кто-то словно мягкой мохнатой лапой залепил ему уши, сладкой тяжестью полонил голову — и вот уже лежит его белобрысая лопушастая на большой сумке, из которой сытно пахнет вчерашними пирогами с капустой. Мать в дорогу взяла — полдня же мотаться, проголодаются...

Ему снилось, что голова его покачивается на огромной и мягкой, как облако, отцовской ладони, а голос отца — знакомый, негромкий, с глухотой, — звучит прямо в голове: «Лесь мой, Лесь... не сердись, родной, не сердчай на меня, лопушатый». Лесем отец звал его в шутку с детства, потому что маленький Алёшка на вопрос об имени отвечал: «Лёса», — потом уже пошло: Лёсик, Леська, Лесь. — Да, лес-то, лес нынче погорел сильно, — кто-то громко сказал рядом, и Лёшка очнулся от дремы.

В окне бежали обугленные до пояса берёзовые стволы — голые, без единого листика.

Мать дремала, прикрыв уставшие от жизни глаза, крепко держа ручку большой хозяйственной сумки.

Ехать оставалось примерно полчаса.

В районном универмаге было густо-оживлённо: городской и сельский люд бодро скупал к школе портфели и костюмы, ленточки, тетрадки, дневники. Шныряли там и сям пронирыливые сельские бабёнки, пахнувшие автобусом; сдвинув на затылок пёстрые платки и прижимая к животу сумку, громко спрашивали: кто крайний? — и занимали очередь сразу в три места; тут же неловко толклись мужички в серых кепках и мятых, сгорбленных на спине серых же пиджачках — но их-то было мало, всё больше ребячьи гомонливые стайки при мамашках.

Лёшка держался самостоятельно, неторопливо разглядывал витрины, за хвост материнной юбки не держался, хотя непривычно и страшновато было от многолюдства, толкотни, пестроты прилавков...

В книжном отделе заметил он две книжки, от которых сразу загорелись глаза и затеплело на сердце (брал в школьной библиотеке, читал взахлёб и с тех пор мечтал найти и купить): «Журавлёнок и молнии» Крапивина и «Два капитана» Каверина. Надо упросить мать, пусть купит. Небось, останется рубля три от покупки костюма. А где же она? Он огляделся.

Тут-то он и увидел отца. Признал в пестролюдной толчее по родному затылку, сутуловатой спине, клетчатому пиджаку, в котором он в последний раз приезжал. Тот стоял спиной, разглядывая товар на полках отдела с красивым непонятным названием «Галантерея». Потом сказал что-то продавщице, она ответила, и отец направился к кассе — видимо, пробивать чек. Лёшка, не замечаемый отцом, притаился у книжной вращающейся стойки, как бы разглядывая открытки. На самом деле, как настоящий шпион, не сводил взгляд с отца.

Наверное, можно было просто подойти к отцу, поболтать, но тут из отдела женской одежды к нему легко, на каблучках, порхнула — Лёшка аж зажмурился! — Оксана, их старшая пионервожатая, которая пару лет назад переехала в город, — ловко скользнула рукой под руку отца, щекой прижалась к его плечу, тряхнула своей замечательно-золотой гривой завитых волос и засмеялась серебристым колокольцем — так только она умела! А отец рядом с ней словно помолодел, разулыбался, и сутулости как не бывало — пошли, такие развесёлые, к дверям, оставив Лёшку в столбняке недоумения.

Забыв о матери, что томилась в очереди, чтобы ему, Леське лопушатому, школьный костюм и ботинки купить, Лёшка, как загипнотизированный, как бычок на верёвочке, пошёл за весёлой парочкой, машинально цепляя немевшими пальцами холодные цумовские стены, перила лестницы, массивные ручки входных дверей.

Они шли метрах в ста впереди, при желании Лёшка мог легко догнать их, но понимал: нельзя было.

Оксана по временам чему-то смеялась, откинув назад гриву рыже-осенних волос, увлечённо жестикулировала.

Не теряя из виду отца и весело пламеневшую копну Оксаниных волос, Лёшка шёл за ними на почтительном расстоянии — так, чтоб не заметили, по временам вставал за дерево, прислонившись к шершавому боку старой берёзы, и снова шёл.

В их селе все друг друга знали, и Оксана, или просто Сан-Сановна, как её все почтительно и игриво называли, обладала какой-то природной тайной притяжения взглядов, людей, событий. Она только что окончила институт культуры, вернулась в родную школу (говорят, надо было отработать три года) и молодо, легко заводила, закручивала весёлую пружину школьных дел. К Оксане тянулись и дети, и взрослые. Ослепительно-стройная, пышноволосяя, она стояла на сцене сельского клуба и хрустальным своим голосочком звенела:

А пока-пока по камушкам,

А пока-пока по камушкам,

По круглым ка-а-амушкам река бежит...

Девчонкам организовала танцевальный кружок и учила их правильно держать голову, плечи, осанку, дробушки показывала, плавно раскидывала тонкие гибкие руки и выводила: «По-о-од сосною, по-о-од зеленою...» — а сама уже шла вперёд, в такт «Калинке» выкидывая ножку в красном остроном сапожке, останавливалась, уперев кулачки у пояса и вдруг лихо взрывалась забористой дробью, сверкая улыбкой, плеща платочком, выхваченным из рукава в нужное мгновение, высекая, казалось, искры из-под каблучков.

И теперь она шла в полуобнимку с отцом, лёгкая, пышноволосяя, счастливая, а Лёшка, стараясь не отстать, шёл сзади, слегка пошатываясь (кружилась голова).

Дорога была центральная, вела к вокзалу, заблудиться было нельзя, и хотя Лёшка понимал, что мать там, может быть, волнуется и растерялась, ищет его, поделаться с собой ничего не мог, а шёл и шёл за отцом и Оксаной как привязанный.

День был ветренный, почти осенний, пробрызгивал дождиком, внезапно налетал бесшабашный вихрь, неся сноп колючих дождевых иголок. С деревьев прямо в лицо летели первые пожухлые листья.

Около поликлиники у Лёшки развязался шнурок, он вовремя заметил и наклонился завязать. На минутку только — и упустил из вида счастливую парочку. Прибавил шагу, завернул за угол... Они были совсем близко, у калитки палисадника, окружавшего небольшой деревянный домик, но его не видели, стояли обнявшись, зарывшись лицами друг в друга, и Оксанина пышная грива совсем закрывала лицо отца... Через минуту они вошли в дом. У калитки бесстыдно-ярко полыхала рябина,

на клумбе бодро топорщились корноухие бархатцы и клонились тяжёлыми головами золотые шары.

Лёшка развернулся и пошёл назад. Шагов через десять его вдруг замутило, смятение последнего часа поднялось тошнотворной волной к самому горлу, ноги ослабели, он едва успел схватиться за спинку скамейки. Его вырвало, брызнули долго копившиеся слёзы. Он обессиленно по сидел на лавке, кашляя и сплёвывая, потом вынул из внутреннего кармана куртки чистый носовой платок, что выдала мать перед отъездом в город, высморкался, умыл лицо у колонки ледяной водой и зашагал назад, к универмагу, навстречу матери, подставляя лицо осеннему ветру.

Венькины камешки

*Как счастлив Камешек — в пыли
Бредущий по лицу Земли...*

Э. Дикинсон

Венька-дурачок собирал камешки. Жили они с матерью вдвоём на краю посёлка в неказистом домишке, что от бабки достался. Латать и облагораживать покачнувшееся от времени строение было некому. Скромно жили: шаткий штакетник палисада, огородишко, пара стаяк-сараяк, из живности — курей десяток, старый петух, вредная козья морда Варька да пара поросят.

Ходил Венька по улице, опустив кудлатую голову с волосами неопределённой мышиной масти, бормоча что-то себе под нос. Внезапно останавливался, уставив глаза в одну точку, быстрым коротким движением поднимал камешек и, почему-то воровато оглянувшись, совал находку в карман.

Складывал их в комнате на полочку.

Каждому камешку было дано имя.

— А это что? — спрашивала мать.

— Это баба Дуся — серьёзно отвечал Венька, поднимая большие серые в коричневую крапинку глаза. — Как же ты не видишь? — и медленно подносил белый голыш кварца величиной с голубино яйцо к световому лучу.

Закатное осеннее солнце, проникая прихотливое слоистое естество камня, казалось, подыгрывало Венькиным химерам и миражам. При желании можно было разглядеть в молочно-прозрачной глубине согбенный силуэт, или горбоносый профиль, или птичий глаз.

— А вот этот? — кивала она на тёмно-серый пористый булыжник с двумя светлыми пятнышками.

Венька проводил по камню узкокостной ручонкой и улыбался:

— Это дедка Паша. Не узнала? Он за мной приглядывает, видишь, какой глазастый!

Мать только головой качала.

Вскоре она заметила: как только в посёлке умирал кто-то, полочка Венькина пополнялась новым камешком.

— Ты чего это? — осторожно спрашивала она, боясь спугнуть Венькину откровенность. — Никак с могилки приволок?

(Видела мать, как плёлся её дурачок, ниже плеч голова всклокоченная, в хвосте похоронной процессии: соседа Витюшку хоронили, повесился, бедолага, от несчастной любви.)

Малахольный важно кивал:

— Мне он сам показал.

— Да кто?

— Витька же. Его в яму спускали, а листок с осины вдруг сорвался и как раз на этот камушек угодил. Показал он, значит: вот, мол, его бери.

И уже оглаживает камешек, греет в кулачке, дышит на него — и на полочку. Кладёт — немного поодаль от всех, на особину. Светит камень с Витюшкиной могилки зелёным глазом в полусумраке у самой стены — вот так же исподволь, из глубины омутно-зелёной, смотрел и Витюшка. Жалко парнишку.

— Да на что ж они тебе?

Венька оборачивался, смотрел на мать как на несмышлёного малыша и убедительно-тихо отвечал:

— Помнить.

Вскоре на заветной полочке в два аршина длинной красовался целый сад камней. Когда за окном совсем непогодило и не надо было огород полоть и воду таскать, Венька садился против странного своего алтаря и подолгу бормотал, беря с любовной чуткостью то один камешек, то другой. Иные неказистые уличные булыжники он ласково баюкал в ладони, мурлыча им нездешние песни. Другие камешки подносил к уху и всерьёз прислушивался, сдвинув русые колоски бровей.

Мать боялась в такие моменты приближаться к Веньке: ну-к она что-нибудь не то брякнет или посудиной громыхнёт — испугает. Когда счастливый Венька засыпал, по-детски подложив тёплую от прикосновенья к камням ладонь под щёку, мать, подоткнув ему, как маленькому, со всех сторон одеяло, уходила в свой угол, утирала слёзы, стелила постель и засыпала с мокрым лицом.

В остальном Венька был почти нормальным: скажет мать воды в баню наносить — наносит, да так ещё легко несёт, аккуратно, словно оно ему ничего не стоит; курятник ли почистить, за хлебом сходить, поросят покормить — всё может, всё ему даётся без насады, без досады. В школе он, конечно, всё больше на последней парте обретался: сидит себе, незаметный, на доску не смотрит, в тетради не то чтобы ералаш, а так, словно сорока наследила: крупные неловкие буквы кое-как накарябаны, предложение оборвано на середине; учительница же отводила от него глаза — уж больно смущал её странный, расфокусированный взгляд блаженного троечника. Дети его не то чтоб обижали, но сторонились, как обходят всякого

не от мира сего. В друзья никто не набивался, рядом не садился, но если надо было попросить карандаш, ручку или ластик — тут его помощью непременно пользовались. Отчуждение соклассников ему, казалось, ничуть не мешало: сядет тихонько на перемене с книжкой — не поймёшь, то ли читает, то ли сны наяву смотрит, только глаза мимо книжки — и улыбается не понять кому. Так и доучился, восьмой закончил, тройки за экзамены ему мудрые учителя «нарисовали» — и с тех пор уже лет пять он при матери: а куда его, такого-то? Ну, свой-то хлеб точно отработывает. Опять же — добрый, незлобивый. Ну, со странностями, как говорили в посёлке. Бывает.

Только один Пётр Васильич, учитель литературы, высокий, худой, сутулый, с круглой проплешиной меж летучих кудрей, встречая Венькину мать на улице, говорил о мальчишке с особенным теплом:

— Вы его не ругайте за тройки, и тетрадки у него вряд ли лучше станут; он, может, дар имеет такой, что не всякий оценит. Иной раз такое скажет... Вот вы говорите — камешки. Мы вчера сочинение писали — ну, по развитию речи — описание предмета. Кто-то плюшевого медведя описывал, кто-то — велосипед... А ваш, гляжу, сияет, и буквы словно ровнее стали. Читаю: о камне пишет, целую историю. Мол, пошёл он однажды летом к Трёхскалке, сел передохнуть на солнышке, а камень этот его позвал голосом отца.

Мать только руками всплеснула:

— Да откуда он голос отца-то знает?! Веньке месяца три было, как отец из семьи ушёл.

— Выходит, услышал. А дальше вот что пишет: камень — всему голова. Удивительно! Ведь мы что внушаем на уроке: хлеб — всему основа, наука — всему голова... И так убедительно даже доказывает. На чём здание строится? На камне. Что на могилу клали? Опять же камень. А поклонялись наши предки кому? Камненным идолам. Там много всего, я не упомянул... Вы берегите его. Он по-своему и поэт, и художник. Он меня прямо заставил об этих камнях всерьёз думать. Вот послушайте: «Как счастлив Камешек — в пыли бредущий по лицу Земли»... — и весь стишок до конца продекламировал, да громко так, выразительно — к немалому изумлению прохожих.

Мать как-то засмушалась даже, что учитель, идя по улице, на глазах соседок ей стихи читает...

— Вень, Варьке травы нарви! Не хочу выпускать, со дня на день опростается. У Базыра, слышь, сочнее будет, знаешь, там, у водомерного моста... Да в воду смотри не лезь — долго ли застудиться?..

Венька холщовый мешок под мышку — и айда на Базыр. Трава там и вправду сочнее будет. И камешков по всему берегу — выбирай хоть на память, хоть на радость!

Рвёт Венька траву да нет-нет и взглянет на камушки-то. Остановится, бросит мешок и роется в прибрежной гальке. А она семицветной радугой переливается—загляденье! Речка-тихотечка обкатала да расцветила её—не оторваться Веньке, нет! И чем ближе к воде, тем ярче они, заманчивее... Переступает Венька с камня на камень, хочет глянуть на те камешки, что на дне перекатываются. И вот уже стоит по колено в ледяной воде, забыв материно предупреждение (Базыр-то ведь и летом холодный, никто не купается, горная речушка), стоит, забыв закатать штаны, наклонившись над рябью потока, всматривается вглубь—зовёт его камешек, вот прямо из-под воды светит...

Мать хватилась Веньки только в сумерки—замоталась что-то, захлопоталась по хозяйству. Очнулась,

когда недовольная Варька заблеяла в загончике—травы ей, вишь, не дали!

Кликала-покликала на дворе, вдоль улицы—нет блаженного.

—Веньку моего нигде не видали?—только головами качают да смотрят вслед.

Отгоняя тревогу, не чуя ног—и сердце камнем колотится где-то в горле,—побежала к водомерному мосту.

Мешок-то—вон он, с травой рассыпанной. А Венька лежит на отмели, прямо в воде, лицом вниз, только кудри река полощет. Знать, позвал его какой-то камень, хотел достать его Венька—да оступился или поскользнулся, камни-то на дне предательски-склизкие, тиной поросшие, а головушка бедовая при падении прямо на валун угодила. Камень—всему голова.